
Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

НЕЖНОСТЬ ПУШКИНА

Стихотворения в прозе

КНИГИ

Я из тех, кто всю жизнь покупает книги.

В юности я не сомневался, что рано или поздно все эти книги я прочту.

Теперь, покупая какой-нибудь фолиант, я понимаю, что не прочту его уже никогда.

Я отговариваю себя покупать очередную новинку. Но опять и опять покупаю. Книжки смотрят на меня. И я смотрю на них. Ночами они спят, как и я. Они и днем спят. Многие, как медведи, по полгода. А то и — годами. Они разуверились во мне так, как разуверятся друзья, женщины, дети. Эти глазастые корешки были свидетелями моей жизни.

Но некоторые еще я прочту. Какие именно?

НЕЖНОСТЬ ПУШКИНА

Только я успел сказать про особую нежность в пушкинском «Евгении Онегине», как у моих учеников сразу загорелись глазки. Нынешнее юное поколение, слава богу, чувствительное. К следующему занятию они отыскивали все производные от слова «нежность», которыми столь старательно пересыпан роман Пушкина.

Мы договорились, что нежность у Пушкина — это растущая симпатия, растущее чувство. Нежностью подготавливаются долгожданные изменения в человеке. Как бы нам ни мил был Онегин, его страсть поначалу звалась не только наукой — она была нежной. Нежность накапливается в душе, становясь залогом преображения.

— А вот Татьяне и накапливать ничего не нужно было, — говорили мальчишки (они отвечали за Татьяну). — Потому что она «от небес одарена... сердцем пламенным и нежным».

— Но Евгений внутренне рос, его нежность росла, — парировали девочки (они звались защищать Онегина). — Вот послушайте:

Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб., 1994), «Антипитерская проза» (СПб., 2008) и публикаций в журналах «Нева», «Знамя», «Звезда», «Волга», «Новая Юность», «Интерпоэзия» и др. Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда». Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

Или — в переломный момент:

Но как-то взор его очей
Был чудно нежен...
...
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

— Да, а что вы скажете на это? — оживлялись мальчики. —

Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечер небрежно.

Подшутил ваш Евгений.

— Разве он в этом не раскаялся? — вступались девочки за Евгения. —

Случайно вас когда-то встреть,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел.

Мальчики зашумели:

— А напрасно. Искре, искренности только и надо верить.

Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? Одну суровость.

А суровость — антоним нежности.

— Легко быть умным задним числом, — не сдавались девчонки. — Ваша Татьяна тоже хороша! Что случилось с ее нежностью?

Как изменилася Татьяна!
...
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?

...Мне захотелось напомнить еще об одной нежности Пушкина в этом романе. Я сказал:

— А ведь нежностью окутан и Владимир Ленский. Стих его назван «нежным». Он сам — «нежней, как мотылек». В Ленском, как и в Татьяне, — нежность изначальная, природная — как мотылек.

— Нежность только и может быть природной, естественной, — не сомневались мальчики.

— Нежности надо верить, — смирились девочки. — Нежности во взоре. Не нежным речам, а нежным очам.

— Вот-вот. Наконец-то. Дошло до них! — вдруг праведно загудели мальчики о чем-то своем.

ТРИ ДРУГА

В юности нас было трое друзей. Склонные к теоретизированию и известному максимализму, мы настолько благоговели перед самим фактом наших товарищеских отношений, что пришли к выводу: именно союз трех людей составляет основу идеальной дружбы. Дескать, когда друзей двое, каждый из благородства намеревается уступить другому, оставляя себе меньшее. Рано или поздно кто-то из двух становится первым, ведущим. Жертва, считали мы, хороша, но равенство — выше. В конце концов, ликовали мы, и мир держится на трех китах. Если бы старый советский фильм «Верные друзья» не был бы для нас таким уж старым, допотопным, мы бы и его причисляли к доказательствам нашей идеи дружбы. То есть мы были друзья — не разлей вода, первокурсники-кореша — Женька, Андрей и я. Нас так и звали по-ремаркски — «Три товарища».

Через год я бросил учебу, перебрался в Ленинград, поступил там в пединститут, получил диплом учителя, собрался жениться. Андрей после первого курса ушел в армию, попал в Афганистан. Только Женька окончил университет в родном городе. Я прилетал домой на каникулы, встречался с Женькой, говорили об Андрее, который стал теперь среди нас словно старшим. И словно одним из двух, а не из трех. Мы с Женькой улыбались друг другу виновато. Двустороннего диалога и прежде не получалось, но когда появлялся третий, кто бы им ни был — Женька, Андрей или я, то общение становилось свободным и сердечным...

И вот спустя несколько лет мы с Андреем сидим у воды, у нашей городской речки на закате. На скамейке — поллитровка водки и колбаса. Раньше нам хватало вина. До Женьки не дозвонились. Андрей сообщил, что Женькина жена родила ребенка с серьезной патологией и Женька теперь избегает с кем-либо видаться без существенных причин.

Андрей всегда был степенным, кажется, родился таким. Но теперь его осанистая насмешливость становилась недоверчивой. Пили из раскладного стаканчика, смотрели на речку, к надкусанным огурцам не притрагивались. Солнце только начало заходить, а мы уже устали друг от друга. Андрей говорил о незаконченном ремонте в ванной, а мне все сильнее хотелось целоваться со своей красавицей невестой.

Вдруг Андрей спросил: «А тебе хорошо там, в культурной столице? Ты был среди нас таким весельчаком». — «Да и ты тоже не отставал», — сказал я. «Не отставал», — согласился Андрей. Я было хотел спросить его об Афганистане, но прикусил язык: почему-то казалось, что ему неприятен Афганистан еще и тем, что последние армейские полгода он провалялся в кабульском госпитале не с боевым ранением, а с каким-то обычным недугом.

Вдруг я зачем-то произнес: «Я хочу признаться тебе, что свою новую повесть написал из конъюнктурных соображений. Поэтому ее и опубликовали». Странно, что я это сказал, я совсем так не думал. Напротив, мне казалось, что моя повесть получилась — и получилась именно потому, что я ее писал честно.

«Как ты так можешь? — возмутился Андрей, и его возмущение было радостным. — Мы думали, ты настоящий писатель». От разочарования он начал качать головой, как от стыда. Я не ожидал, что Андрей примет на веру мое самоуничижительное признание. Я ожидал обратного, что Андрей приобнимет меня и скажет: «Ты брось на себя наговаривать, брат. Повесть я твою прочитал. И она хорошая».

Вскоре мы попрощались. Получилось, что навсегда. Андрей уходил плотный, победный...

Теперь я говорю своим ученикам, что с темой дружбы что-то случилось в поэзии двадцатого века. Поэтому у Евтушенко: «ко мне мой старый друг не ходит», и Высоцкому нужны доказательства дружбы. А вот Пушкин ни в каких доказательствах не нуждался.

СОН

WhatsApp пискнул зычно — разбудил меня посреди ночи. Пришло сообщение от дочери: «Долетели хорошо». Я ответил: «Приятного вам отдыха». В Арабских Эмиратах — жарко, детям отрада. Очень хотели в Дубай, в местный диснейленд.

Долго не мог уснуть вновь, улыбаясь в темноте внукам. А когда сон сморил, сам оказался в далекой и чуждой стране. Помнил, что изначально весь скарб, документы и деньги хранил при себе. Но теперь был словно опоенным, невменяемым, не держался на ногах от растерянности и потерянности. И догадался, что всего лишился. Ничего рядом не было. Рядом, на скамейках в аэропорту. Надо вылетать домой, а не могу. Стоял, покачиваясь, оглядывался по сторонам, ударял себя по лбу, всплескивал руками. Никакого решения — только отчаяние. И вокруг — понятливые ухмылки. А подростки попросту прыскали со смеху. Хотя бы у одного человека вспыхнул в глазах сполох страха за меня!

Однако стали приносить отдельные мои вещи: пиджак с вывернутыми рукавами, солнцезащитные очки, томик стихов Давида Самойлова, дорожный несессер с дезодорантом и зубной щеткой... Я даже стал благодарить — так смычок съезжает в финале неуклюже...

Медленно продирался после такого сна сквозь отчетливую плотность яви. Понимал, был там лишним и посторонним. Знал, что свою никчемность и утлость заслужил. Один многодетный отец, коренастый, как мой зять, там, в аэропорту, смотрел на меня в упор неосудительно. Это было как краткое объятие. Я ответил ему глазами: «Ты молодец — сколотил семейство...»

Расплачиваюсь снами за нравственный выбор, за недонравственный недovýбор. Улетел или не улетел? И если остался, то где я теперь?

...Уснул на рассвете. Ах, какая во сне теплота на рассвете!

СЕСТРА — МОЯ ЖИЗНЬ

Пока было у кого спросить, я не спросил, отчего умерла в пятилетнем возрасте моя сестра Галя. Умерла задолго до моего появления на свет. Я же был рожден для того, чтобы в нашей семье вновь стало два ребенка — мой старший брат и я. Два не один — так надежнее родительскому сердцу. Я живу словно вместо нее, словно она пожертвовала собой ради меня. Мама — человек словоохотливый, однако не любила распространяться о смерти дочери. Отец об этом грозно молчал, даже выпивши. Он ждал на Галино место вновь девочку, новую девчоночью нежность, равную прежней. Матери же было важно, чтобы попросту было еще одно дитя. Единственное, о чем рассказывала мать, что умирающая Галя просила отца отнести ее на взгорок рядом с поселком. Кажется, отец нес ее не только с мукой, но и с какой-то особой гордостью за дочь — покидающую наш мир мудро, по-взрослому. Почему Галя любила этот взгорок, что она хотела увидеть с него? Наверное, она утешала отца: «Папа, плачь — не бойся! У тебя

хорошие слезы, они как от ветра». Отец послушно и решительно улыбался ангельской кротости дочери. Быть может, она потянула отца сюда не для себя, а для него.

У сестры был взгорок. А у меня первое воспоминание о жизни связано с оврагом: присев на корточки, я, трехлетний малыш, взираю вниз с края оврага на темный сырой мох. Собственно, овраг — это взгорок наоборот. Но наоборот ведь. Как хорошо, что я не совсем я! Без этого, Галиного, участия в моей жизни я был бы еще хуже, еще ниже.

Мне кажется, что отец полюбил меня всем сердцем только перед самой своей кончиной. Он искал мою руку и словно разрывался между мной и Галей. Отец закрывал глаза и начинал шевелить губами, как в долгом велеречивом сне. Если в этом сне и говорила что-то Галя отцу, то не о себе — обо мне. Мать сказала: «Как будто хочет, чтобы его вынесли на воздух, на улицу». Открыли окна настежь, придвинули кровать с отцом к подоконнику. Отец выше и выше стал поднимать подбородок из последних сил...

РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ

Я разговариваю с самим собой, как с сыном:

— Почему мне снятся такие страшные и непотребные сны? Сегодня во сне я с матерью — в каком-то школьном актовом зале. Он ломится от подростков, хохочущих, матерящихся. Мы с мамой — где-то на задворках. Почему-то я сел позади нее по диагонали, а сразу за ней и по соседству со мной устроился вертлявый юнец. В зале стоял какой-то грязный гвалт. Но я расслышал поблизости отвратительное хихиканье девиц, компании этого юнца. Я увидел гадкое и невообразимое, что даже язык не поворачивается описать: юнец ногами в огромных кроссовках вдруг задрал юбку моей матери. Именно это показалось смешным его подружкам. Показалось не паскудным, а смешным. Я схватил его за горло. Он вырывался, хрипел: «Отпусти, я ударю тебя ножом». Я зачем-то вдруг произнес: «Сейчас я тебя так ударю, что это будет ударом судьбы». Все стихло, и я проснулся. Зачем я произнес эту дурацкую театральную фразу? Разве это я должен был изрекать в тот момент? Я должен был придушить негодая молча.

Сын:

— Ты думаешь, папа, другим подобное не снится? Нужно отмахиваться от таких снов. Представляешь, что будет, если все люди начнут придавать значение снам?.. А что ты вчера вечером делал, от чего у тебя были самые сильные впечатления?

— Я листал альбом Петрова-Водкина, смотрел его Богородиц, портреты матерей.

— Ну вот...

— Не переводи, сынок, пожалуйста, разговор в сферу психоделики. То, что мне приснилось, страшнее всяких объяснений... А вдруг ей там стыдно за меня? Вдруг я что-то делаю не так?

— Ну, папа!

ТАТУ НА ЛИЦЕ

Его девушка — ему:

— У тебя в комнате так пестро — аж в глазах рябит. Как на лугу — занавески в цветах, корешки книг, поднос с восточным орнаментом, картина — натюрморт, фотогра-

фии, шелковый халат с гербами, иконы. Но иконы спокойны и этим хороши. Потому к тебе и синичка желтогрудая прилетает.

— Не, она поклевать зернышек тыквенных прилетает.

— Изумрудных.

— Я вот думаю свести татушки с лица, — сказал парень.

— А я уже к ним привыкла. У тебя ведь там не какая-то хрень — а со смыслом.

— Ты прикалываешься — со смыслом?

Она нежно поцеловала его тату на лице: под левым глазом «Не вижу», под правым — «Смысла» и две того же синего цвета слезинки.

— И главное — нигде на теле, только — под глазами, — улыбнулась девушка.

— Зачем скрывать?

— А сейчас готов скрыть или смысл нашел?

— Не нашел.

— А меня?

— А тебя нашел... Не нужно на лице, даже если это и правда. Пусть будет все внутри.

— Ты мне сам говорил, что они как клеймо у каторжника, как тавро у коня. А еще — про сигнатуры.

— Не, сигнатуры — это ведь не по собственной воле... Ты ведь и сама не хочешь их?

— Не хочу. А вдруг ты еще в чем-то переменишься?

— Не, к тебе не переменюсь...

— Я знаю.

— Если нужно знакам каким появиться, они появятся.

— На теле?

— Да где угодно. На теле, на небе, в душе.

— А что я целовать буду?

— Найдем, что целовать.

ГНЕВ

Отец поругался с сыном. Теперь мучился. В голове крутилось: вот тебе и гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына.

Час беседовали миролюбиво, даже когда разговор касался политики. Отец ждал, когда сын вспомнит, что обещал *в следующий раз посмотреть компьютер — чего он у тебя плохо грузит*. Сын засобирался. Отец: «Не помотришь компьютер?» Сын включил ноутбук — тот еле-еле ворочался. Сын вздохнул: «Давай в следующий раз, пап».

Сын одевался в прихожей. Отец сдерживал раздражение, произнес негромко, неровно, задыхаясь: «Когда тебе что-то надо, клещами выдерешь». Сын отставил в сторону ботинок: «Ты в своем уме?» И тут у отца гнев пошел горлом. «Не смей так со мной разговаривать!» — повысил он голос, покраснев. «И ты не смей так со мной разговаривать», — выпалил сын. Слово — за слово. «Не приходи больше сюда», — сказал отец беспощадно...

Теперь отец молил Господа за то, что тот удержал его от непоправимого: желания рукой подтолкнуть сына к входной двери. Сын бы ответил — грубо отвел бы руку отца.

Гнев изнемог, когда дверь за сыном захлопнулась. На кухне отцу первым делом бросилась в глаза подставка с ножами. Отец опустил веки, сжал лицо руками. Хотелось еще чем-то укрыться с головой, отгородиться. От кого? Не от сына же?

Вдруг всплыл в памяти недавний сюжет из новостей: старый отец убил взрослого сына, когда отмечали его день рождения вдвоем, расчленил именинника и бросил части тела в реку. Родное тело, кровное, неотторжимое, свое...

...Вечером отец позвонил сыну, сказал: «Извини, сын». Впервые не сынок — сын. Мгновенно услышал благодарную мягкость в ответных извинениях. Сын слегка робел — кажется, еще что-то мешало его оттаявшей душе.

Отец смотрел на фотографию сына маленького. «С какой радостью он встречал меня с работы! — вспоминал отец. — Ложился теплым комочком к моему боку, почти не дышал, чтобы не мешать мне слушать музыку. Так мы научились слушать музыку вместе... Наверное, теперь мы будем стесняться друг друга из-за чувства взаимной вины. Но научимся улыбаться этому смущению близких людей. А когда будем порой, прощаясь, обнимать друг друга, я буду тихонько поглаживать сыну плечо. Он жалеет меня, как прежде».

ПОКАЛЕЧЕННЫЕ

Последний год все чаще встречаю в общественных местах совсем молодых мужчин-калек — кто без руки, кто без ноги, колясочников. Похоже, участников СВО. Одно успокаивает: протезы им ставят современные, технологичные, бионические. После Великой Отечественной войны безногие инвалиды-фронтовики передвигались по улицам на самодельных каталках, отталкиваясь от земли какими-то деревянными колодушками. Хорошо, хоть наши юные ветераны — не у земли, не под ногами.

Не успел подумать об этом, в трамвай поднялся двадцатилетний парень, придерживая правой рукой свою искусственную левую. Кажется, протез был временный, сугубо косметический, из медицинской, рыжей резины. Вагон наполнился деликатным состраданием. Престарелая женщина попыталась уступить место парню. «Ну что вы, — улыбнулся он. — У меня же не ноги нет — руки».

Улыбка у него была хорошая, добродушно терпеливая. Никогда не встречал молодых людей с такой мягкой улыбкой. Мне хотелось подойти к нему и тихонько спросить: «Оттуда?» А вдруг он скажет: нет, не оттуда. А если и скажет, что не оттуда, неужели я разочаруюсь? Словно в таком случае мне нечего ему будет сказать. Да то же самое и сказать, как если оттуда. Поддержать, пожелать здоровья. Но он — оттуда. Потому что глаза у него, как оттуда — теплые, спокойные, ясные. Он догадался, о чем я хочу его спросить, и опустил веки в знак подтверждения. Поэтому и спрашивать ни о чем уже не было смысла. Его улыбки было достаточно и мне, и другим. Вскоре он вышел. Старушка сказала соседке: «А я своих бандеровцев тапком бью». — «Каких бандеровцев?» — решила уточнить другая пассажирка. «Тараканов. Опять появились — коммуналка. Больше ничто их не берет — только тапком».

НЕ ЗА ЭТО (из дорожного разговора)

— Христа они не любят еще и потому, что он до сих пор хранит Россию и русский народ. Дескать, что это за Бог, который спасает такой, с позволения сказать, несуразный этнос! Мол, за что нас хранишь — понятно. Их-то за что спасаешь — этих ничтожных русских? А вот за это-то и спасает.

— Не за это. Думать так о себе — гордыня. Вот и приходится нас спасать.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Августовский вечер. Я брожу окрестными дворами, чтобы еще раз убедиться: какие мы все-таки хорошие — русские люди. И осетины, и чеченцы, и армяне. А евреев от нас и вовсе не отличить. И какие мы, оказывается, не крикливые — тихо вокруг. Автомобили встали на прикол до утра. Обитатели дворов погружены в собственные мысли. Но нет-нет да оглядываются на прохожих.

Девушка с розово-белыми волосами хохочет беззвучно, снимает на телефон своего парня-крепыша. Он невозмутим. Так и будет любить невозмутимо.

Два пацана (лет по тринадцать) мчатся на велосипедах. Один — другому:

— Мне нравится с ветерком.

— Мне тоже. Прикольнo.

Кто первым ввел это «прикольнo» в речевой обиход? Ведь был же первый, автор, как у всякого неологизма. Я не употребляю это словечко, хотя оно уже перестало меня раздражать. А в обнимку «с ветерком» даже радуется.

Ленивые птицы топчутся у шеренги электросамокатов.

Женщина наклонилась над клумбой. Другая, в темных очках, что-то ей увлеченно рассказывает.

— Бог в помощь! — перебиваю я. — Какие у вас цветы!

Удаляюсь. Та, что в темных очках, роняет:

— Общениа не хватает.

— Всем нам чего-нибудь не хватает, — вздыхает ухаживающая за цветами...

Вдруг приходит нехорошая мысль: все это августовское затишье — экспозиция к грозной развязке. Не знаю, какой она будет. Страшной, потешной? Никто больше не будет отмалчиваться с покровительственной нежностью. И я хочу разговора начистоту...

ПРИЗНАНИЕ ПОЭТА N

Поэт N в этот вечер читал свои стихи самозабвенно. Публика, заполнившая конференц-зал новой городской библиотеки, была очарована его высоким баритоном и чеканной дикцией. Он был немолод, но щеки его пунцовели сквозь белесую щетину. Загадочно звучали его стихи о птицах. Это были истории о живых и реальных синицах и снегирях, лишённые аллегоричности, но таинственные по какой-то иной причине.

N отвечал на вопросы грустно, но без доли усталости. Этим он подкупал — что рассуждал бодро, подробно и не сбиваясь. Иногда чутких поклонниц так поражала точность концовки того или иного стихотворения, что они уже начинали тосковать по будущим и еще не написанным строчкам N.

И вдруг случилось непоправимое. Никакой блик с колокольни в окне, никакой закатный луч, никакой косой взгляд из зала не коснулись лица поэта, но оно вдруг побледнело и исказилось от боли. N стал говорить убежденно, словно не чувствуя слезы в глазах: «Я не тот, за кого себя выдаю. Во-первых, я сегодня понял, что не верю в Бога. Я стыдился отца, когда он был жив, а теперь стыжусь своего сына. Я говорю, что женат, хотя уже много лет как разведен. В юности я не возвращал книги друзьям, и таких книг скопилось немало. А сегодня я отказался помочь голодающему. Я сидел в кафе, куда вдруг зашел бомж и попросил меня купить ему чая. Я отвел глаза, сделал

вид, что не расслышал, о чем он просит. Чай этому бедолаге оплатил юноша за соседним столиком. А я поспешил ретироваться и еще бубнил себе под нос, что великодушные этого юноши показное — ведь рядом с ним была его девушка...»

Н шел от библиотеки в сумерках быстрым шагом. Но можно было и не спешить: никто его не преследовал. Но все равно хотелось провалиться сквозь землю. Голуби иногда путались под ногами. Он осознавал, что шагает не в пустоте. Если он и ощущал себя чистым, без чего не обходится ни одна явка с повинной, то все-таки это была какая-то призрачная чистота: некий жест сопровождал его признание. «Хотя бы потому, — настаивал он, — что всякое публичное саморазоблачение есть жест. А непубличного саморазоблачения не бывает... Утром я проснусь и начну сомневаться: а было ли это со мной, все это было ли со мной когда-нибудь? Да, было именно так. А по-другому и быть не могло».

ТУРГЕНЕВ

Я говорю своим экспрессивным ученикам, что напрасно они отодвигают Тургенева на второй план. Мне тоже это было свойственно в юные годы, полные крайностей. Как же я был неправ! И мне подсказывал мой учитель, что чище русского языка, чем у Тургенева, ни у кого больше нет. Я пропускал мимо ушей слово «чище». А именно чистота прежде всего и требуется языку, речи, литературе. Прозрачность Тургенева мне казалась тогда скучной, легкодостижимой. И еще мы часто относимся с прохладцей к автору «Отцов и детей», потому что занимаем сторону Достоевского в их с Тургеневым странном неприятии друг друга. Какая, дескать, может быть глубина у Тургенева в сравнении с вселенской глубиной Достоевского?! А вот какая — незамутненная, тихая.

Мне не переубедить с ходу моих талантливых учеников. Их скептицизм понятен, они подозревают, что мой поздний пиетет к Тургеневу имеет сугубо психологическое объяснение: мол, я, разменяв седьмой десяток, увидел в Тургеневе родственную душу в его «Senilia», в этих размышлениях пожилого человека.

Придет время, и мои ученики перечитают Тургенева, те же изумительные «Записки охотника», и согласятся со мной. В этом и состоит основной закон педагогики — закон отложенного понимания сути вещей. Порой отложенного — на целую жизнь.